

Александр Солженицын
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ ШЕСТОЙ
Архипелаг ГУЛАГ
1918–1956

Опыт художественного исследования
ЧАСТИ V–VII

В 4-5-6-м томах Собрания сочинений печатается «Архипелаг ГУЛАГ» — всемирно известная эпопея, вскрывающая смысл и содержание репрессивной политики в СССР от ранне-советских ленинских лет до хрущёвских (1918–1956). Это художественное исследование, переведенное на десятки языков, показало с разительной ясностью весь дьявольский механизм уничтожения собственного народа. Книга основана на огромном фактическом материале, в том числе — на сотнях личных свидетельств. Прослеживается судьба жертвы: арест, мясорубка следствия, комедия «суда», приговор, смертная казнь, а для тех, кто избежал её, — годы непосильного, изнурительного труда; внутренняя жизнь заключённого — «душа и колючая проволока», быт в лагерях (исправительно-трудовых и каторжных), этапы с острова на остров Архипелага, лагерные восстания, ссылка, послелагерная воля.

В том 6-й вошли части Пятая: «Каторга», Шестая: «Ссылка» и Седьмая: «Сталина нет»; приводится аннотированный указатель имён (более двух тысяч).

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТОЙ

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

1918–1956

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧАСТИ V–VII



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

КАТОРГА

Сделаем из Сибири каторжной,
кандальной — Сибирь советскую,
социалистическую!

Сталин

ОБРЕЧЁННЫЕ

Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова *каторга*. А это — хорошее, тяжёлое слово, это не какой-нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой: вот уж где, наверное, палачи! (Это — трусливое и спасительное свойство человека: представлять себя ещё не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах *номера*! — ну, значит, отъявленные! На нас-то с вами не навесят же!.. Подождите, навесят!)

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», «генерал», «директор», «верховный». И через двадцать шесть лет после того, как Февральская революция отменила каторгу, — Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), — Указ о введении каторги и виселицы. (Виселица — тоже хорошее древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречённые пополнения — сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.

Самый первый такой был, очевидно, — на 17-й шахте Воркуты (вскоре — и в Норильске, и в Джезказгане). Цель почти не скрывалась: каторжан предстояло умертвить. Это

откровенная душегубка, но, в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени, — чтоб обречённым мучиться дольше и перед смертью ещё поработать.

Их поселили в «палатках» семь метров на двадцать, обычных на севере. Обшитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100 — если на сплошных нарах. Каторжан селили — по двести.

Но это не было уплотнение! — это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день без выходных — поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли автоматами. По пути в зону могли поприхоти полоснуть их строй автоматной очередью — и никто не спрашивал с солдат за погибших. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской — так потерянно, с трудом таким они брели.

Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими выюгами они получали за полсуток — один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использовались двенадцать часов их *отдыха*. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку, без окон, — и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам ещё менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 1943–44 годов: соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме.

Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской (Сахалин) тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную (парашами там даже не пользовались), но и весь день — в город! Так что подлинный смысл слова «каторга» — чтоб гребцы были к вёслам прикованы — понимал только Сталин.

На 12 часов их «отдыха» ещё приходилась утренняя и вечерняя проверка каторжан — проверка не просто счётом поголовья, как у эзков, но обстоятельная, поимённая переключка, при которой каждый из ста каторжан дважды в

сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осуждён и конец срока; а остальные девяносто девять должны были дважды в сутки всё это слушать и терзаться. На эти же 12 часов приходились и две раздачи пищи: через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому — разносить бачки с пищей. Вся обслуга была — из блатных, и чем наглее, чем безпощаднее они обворовывали проклятых каторжан, — тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева, — здесь, как всегда за счёт Пятьдесят Восьмой, совпадали интересы НКВД и блатарей.

Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили ещё и голодом, — то по ведомостям им полагались жалкие, а тут ещё трижды разворованные добавки «горняцких» и «премблюд». И всё это долгой процедурой совершалось через кормушку — с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть — отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день (простые эки не возились с талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир).

Так от двенадцати часов «досуга» едва-едва оставались четыре покойных часа для сна.

Ещё, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права получать посылок, ни писем (в их гудящей задурманенной голове должна была погаснуть бывшая *воля* и ничего на земле не остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда и этого барака).

От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро.

Первый воркутинский *алфавит* (28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи) — 28 тысяч первых воркутинских каторжан — все ушли под землю за один год.

Удивимся, что — не за месяц^[1].

В Норильске на 25-й кобальтовый завод подавали в зону за рудую состав — и каторжане ложились под поезд, чтобы кончить это всё скорей. Две дюжины человек с отчаяния убежали в тундру. Их обнаружили с самолётов, расстреляли, потом убитых сложили у развода.

На воркутинской шахте № 2 был женский каторжный лагпункт. Женщины носили номера на спине и на головных косынках. Они работали на всех подземных работах и даже, и даже... — перевыполняли план!...^[2]

Но я уже слышу, как соотечественники и современники гневно кричат мне: остановитесь! О *ком* вы смеее нам говорить? Да! Их содержали на истребление — и правильно! Ведь это — предателей, полицаев, бургомистров! Так им и надо! Уж вы не жалеете ли их?? (Тогда, как известно, критика выходит за рамки литературы и подлежит Органам.) А женщины там — это же *немецкие подстилки*! — кричат мне женские голоса. (Я не преувеличил? — ведь это наши женщины назвали других наших женщин подстилками?)

Легче всего мне бы отвечать так, как это принято теперь, «разоблачая культ». Рассказать о нескольких исключительных посадках на каторгу. (Например, о трёх комсомолках-доброволках, которые на лёгких бомбардировщиках испугались сбросить бомбы на цель, сбросили их в чистом поле, вернулись благополучно и доложили, что выполнили задание. Но потом одну из них замучила комсомольская совесть — и она рассказала комсору своей авиационной части, тоже девушке, та, разумеется, — в Особый Отдел, и трём девушкам вкатили по 20 лет каторги.) Воскликнуть: вот каких честных советских людей подвергал каре сталинский произвол! И дальше уже негодовать не на произвол собственно, а на роковые ошибки по отношению к комсомольцам и коммунистам, теперь счастливым образом исправленные.

Однако недостойно будет не взять вопрос во всю его глубину.

Сперва о женщинах — как известно, теперь раскрепощённых. Не от двойной работы, правда, — но от церковного брака, от гнёта социального презрения и от Кабаних. Но что это? — не худшую ли Кабаниху мы уготовили им, если свободное владение своим телом и личностью вменяем им в антипатриотизм и в уголовное преступление? Да не вся ли мировая (досталинская) литература воспевала свободу любви от национальных разграничений? от воли генералов и дипломатов? А мы и в этом приняли сталинскую мерку: без Указа Президиума Верховного Совета не сходишь. Твоё тело есть прежде всего достояние Отечества.

Прежде всего — кто они были по возрасту, когда сходились с противником не в бою, а в постелях? Уж наверное не старше тридцати лет, а то и двадцати пяти. Значит — от первых детских впечатлений они воспитаны *после* Октября, в советских школах и в советской идеологии! Так мы рассердились на плоды своих рук? Одним девушкам запало, как мы пятнадцать лет не уставали кричать, что нет никакой родины, что отечество есть реакционная выдумка. Другим прискучила пуританская преснятина наших собраний, митингов, демонстраций, кинематографа без поцелуев, танцев без обнимки. Третьи были покорены любезностью, галантностью, теми мелочами внешнего вида мужчины и внешних признаков ухаживания, которым никто не обучал парней наших пятилеток и комсостав фрунзенской армии. Четвёртые же были просто голодны — да, примитивно голодны, то есть им нечего было жевать. А пятые, может быть, не видели другого способа спасти себя или своих родственников, не расстаться с ними.

В городе Стародубе Брянской области, где я был по горячим следам отступившего противника, мне рассказывали, что долгое время стоял там мадыарский гарнизон — для охраны города от партизан. Потом пришёл приказ его перебросить, — и десятки местных женщин, позабыв стыд, пришли на вокзал и, прощаясь с оккупантами, так рыдали, как (добавлял один насмешливый сапожник) «своих мужей не провожали на войну».

Трибунал приехал в Стародуб днями позже. Уж наверно не оставил доносов без внимания. Уж кого-то из стародубских плакальщиц послал на воркутинскую шахту № 2.

Но чья ж тут вина? Чья? Этих женщин? Или — нас, всех нас, соотечественники и современники? Каковы ж были *мы*, что от нас наши женщины потянулись к оккупантам? Не одна ли это из безчисленных плат, которые мы платим, платим и ещё долго будем платить за наш коммунистический путь, поспешно принятый, суматошно пройденный, без оглядки на потери, без загляда вперёд?

Всех этих женщин, может быть, следовало предать нравственному порицанию (но прежде выслушав и их), может быть, следовало колко высмеять, — но посылать за это на каторгу? в полярную душегубку??

Да это Сталин послал! Берия!

Нет, извините! Те, кто послал, и содержал, и добивал, — сейчас в общественных советах пенсионеров и следят за нашей дальнейшей нравственностью. А мы все? Мы

услышим «немецкие подстилки» — и понимающе киваем головами. То, что мы и сейчас считаем всех этих женщин виновными, — куда опаснее для нас, чем даже то, что они сидели в своё время.

— Хорошо, но мужчины-то попали за дело?! Это — предатели родины и предатели социальные.

Можно бы и здесь увильнуть. Можно бы напомнить (это будет правда), что главные преступники, конечно, не сидели на месте в ожидании наших трибуналов и виселиц. Они спешили на Запад, как могли, и многие ушли. Карающее же наше следствие добирало до заданных цифр за счёт ягнят (тут доносы соседей помогли очень): у того почему-то на квартире стояли немцы — за что полюбили его? а этот на своих дровнях возил немцам сено — прямое сотрудничество с врагом^[3].

Так можно бы смельчить, опять свалить на *культ*: были перегибы, теперь они исправлены. Всё нормально.

Но начали, так пойдём.

А школьные учителя? Те учителя, которых наша армия в паническом откате бросила с их школами и с их учениками — кого на год, кого на два, кого на три. Оттого что глупы были интенданты, плохи генералы, — что делать теперь учителям? — учить своих детей или не учить? И что делать ребятишкам — не тем, кому уже пятнадцать, кто может зарабатывать или идти в партизаны, — а малым ребятишкам? Им — учиться или баранами пожить года два-три в искупление ошибок верховного главнокомандующего? Не дал батяшка шапки, так пусть уши мёрзнут, да?..

Такой вопрос почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там не считалось, что, легко отданный под немецкую власть своими неразумными правителями или силою подавляющих обстоятельств, народ должен теперь вообще перестать жить. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления.

Но у кого-то (конечно у них!) мозги повёрнуты на сто восемьдесят градусов. Потому что у нас учителя школ получали подмётные письма от партизан: «не смей преподавать! за это расплатитесь!» И работа на железных дорогах тоже стала — сотрудничество с врагом. А уж местное самоуправление — предательство неслыханное.

Все знают, что ребёнок, отбившийся от учения, может не вернуться к нему потом. Так если дал маху Гениальный Стратег всех времён и народов, — траве пока расти или

иссохнуть? детей пока учить или не учить?

Конечно, за это придётся заплатить. Из школы придётся вынести портреты с усами и, может быть, внести портреты с усиками. Ёлка придётся уже не на Новый год, а на Рождество, и директору придётся на ней (и ещё в какую-нибудь имперскую годовщину вместо октябрьской) произнести речь во славу новой замечательной жизни — а она на самом деле дурна. Но ведь и раньше говорились речи во славу замечательной жизни, а она тоже была дурна.

То есть прежде-то кривить душой и врать детям приходилось гораздо больше — из-за того что было время вранью устояться и просочиться в программы в дотошной разработке методистов и инспекторов. На каждом уроке, кстати ли, некстати, изучая ли строение червей или сложноподчинительные союзы, надо было обязательно лягнуть Бога (даже если сам ты веришь в Него); надо было не упустить воспеть нашу безграничную свободу (даже если ты не выпался, ожидая ночного стука); читая ли вслух Тургенева, ведя ли указкой по Днепру, надо было непременно проклясть минувшую нищету и восславить нынешнее изобилие (когда на глазах у тебя и у детей задолго до войны вымирали целые сёла, а на детскую карточку в городах давали триста граммов).

И всё это не считалось преступлением ни против правды, ни против детской души, ни против Духа Святого.

Теперь же, при временном неустоявшемся режиме оккупантов, врать надо было гораздо меньше, но — в другую сторону, в другую сторону! — вот в чём дело! И потому глас отечества и карандаш подпольного райкома запрещали родной язык, географию, арифметику и естествознание. Двадцать лет каторги за такую работу!

Соотечественники, кивайте головами! Вон ведут их с собаками в барак с парашей. Бросайте в них камнями — они учили ваших детей.

Но соотечественники (особенно пенсионеры МВД и КГБ, этикие лбы, ушедшие на пенсию в сорок пять лет) подступают ко мне с кулаками: я *кого* защищаю? бургомистров? старост? полицейав? переводчиков? всякую сволочь и накипь?

Что же, спустимся, спустимся дальше. Слишком много лесу навалили мы, глядя на людей как на палочки. Всё равно заставит нас будущее поразмыслить о причинах.

Заиграли, запели «Пусть ярость благородная...» — и как же не зашевелиться волосам? Наш природный — запретный, осмеянный, стреляный и проклятый — патриотизм вдруг был

разрешён, поощрён, даже прославлен *святым*, — и как же было всем нам, русским, не воспрять, не объединиться благодарно-взволнованными сердцами и по щедрости натуры уж так и быть простить своим привычным палачам — перед подходом палачей закордонных? А зато потом, заглушая смутные сомнения и свою поспешную широту, тем дружнее и неистовей проклинать *изменников* — таких явно худших, чем мы, злопамятных людей?

Одиннадцать веков стоит Русь, много знала врагов и много вела войн. А — предателей много было на Руси? *Толпы* предателей вышли из неё? Как будто нет. Как будто и враги не обвиняли русский характер в предательстве, в перемётничестве, в неверности. И всё это было при строе, как говорится, враждебном трудовому народу.

Но вот наступила самая справедливая война при самом справедливом строе — и вдруг обнажил наш народ десятки и сотни тысяч *предателей*.

Откуда они? Почему?

Может быть, это снова прорвалась непогасшая Гражданская война? Недобитые беляки? Нет! Уже было упомянуто выше, что многие белоэмигранты (в том числе злопроклятый Деникин) приняли сторону Советской России и против Гитлера. Они имели свободу выбора — и выбрали так [\[4\]](#).

Эти же десятки и сотни тысяч — полицаи и каратели, старосты и переводчики — все вышли из граждан советских. И молодых было средь них немало, тоже возросших после Октября.

Что же их заставило?... Кто это такие?

А это прежде всего те, по чьим семьям и по ком самим прошли гусеницы Двадцатых и Тридцатых годов. Кто в мутных Потоках нашей канализации потерял родителей, родных, любимых. Или сам тонул и выныривал по лагерям и ссылкам, тонул и выныривал. Чья нога довольно назябла и перемялась в очередях к окошку передач. И те, кому в жестокие эти десятилетия перебили, перекромсали доступ к самому дорогому на земле — к самой земле, кстати, обещанной великим Декретом и за которую, между прочим, пришлось кровушку пролить в Гражданскую войну. (Другое дело — дачные майораты офицеров Советской армии да обзаборенные подмосковные поместья: это — нам, это можно.) Да ещё кого-то хватили «за стрижку колосков». Да

кого-то лишили права жить там, где хочешь. Или права заниматься своим изданием и излюбленным ремеслом (мы все ремёсла громили с фанатизмом, но об этом уже забыто).

Обо всех таких у нас говорят (а сугубо — агитаторы, а трегубо — напостовцы-октябристы) с презрительной пожимкой губ: «обиженные советской властью», «бывшие репрессированные», «кулацкие сынки», «затаившие чёрную злобу к советской власти».

Один скажет — а другой кивает головой. Как будто что-то понятно стало. Как будто народная власть имеет право обижать своих граждан. Как будто в этом и есть исходный порок, главная язва: обиженные... затаившие...

И не крикнет никто: да позвольте же! да чёрт же вас раздери! да у вас бытие-то, в конце концов, — определяет сознание или не определяет? Или только тогда определяет, когда вам выгодно? а когда невыгодно, так чтоб не определяло?

Ещё так у нас умеют говорить с лёгкой тенью на челе: «да, были допущены некоторые ошибки». И всегда — эта невинно-блудливая безличная форма — *допущены*, только неизвестно кем. Чуть ли не работягами, грузчиками да колхозниками допущены. Никто не имеет смелости сказать: *коммунистическая партия* допустила! безсменные и безответственные советские руководители допустили! А кем же ещё, кроме имеющих власть, они могли быть «допущены»? На одного Сталина валить? — надо же и чувство юмора иметь. Сталин допустил — так вы-то где были, руководящие миллионы?

Впрочем, и ошибки эти в наших глазах разошлись как-то быстро в туманное, неясное, безконтурное пятно и не числятся уже плодом тупости, фанатизма и зломыслия, а только в том все ошибки признаны, что коммунисты сажали коммунистов. А что 15–17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей, — так это вроде и не ошибка. А все Потоки канализации, осмотренные в начале этой книги, — так тоже вроде не ошибка. А что несколько не были готовы к войне с Гитлером, пыжились обманно, отступали позорно, меняя лозунги на ходу, и только Иван да «за Русь Святую» остановили немца на Волге, — так это уже оборачивается не промахом, а едва ли не главной заслугой Сталина.

За два месяца отдали мы противнику чуть ли не треть своего населения — со всеми этими недоуничтоженными семьями, с многотысячными лагерями, разбегавшимися, когда убегал конвой, с тюрьмами Украины и Прибалтики, где ещё дымились выстрелы от расстрелов Пятьдесят Восьмой.

Пока была наша сила — мы всех этих несчастных душили, травили, не принимали на работу, гнали с квартир, заставляли подыхать. Когда проявилась наша слабость — мы тотчас же потребовали от них забыть всё причинённое им зло, забыть родителей и детей, умерших от голода в тундре, забыть расстрелянных, забыть разорение и нашу неблагодарность к ним, забыть допросы и пытки НКВД, забыть голодные лагерь — и тотчас же идти в партизаны, в подполье и защищать Родину не щадя живота. (Но не *мы* должны были перемениться! И никто не обнадеживал их, что, вернувшись, мы будем обращаться с ними как-нибудь иначе, чем опять травить, гнать, сажать в тюрьму и расстреливать.)

При таком положении чему удивляться верней — тому ли, что приходу немцев было радо слишком много людей? Или ещё слишком мало? (А приходилось же немцам иногда и правосудие вершить, например над доносчиками советского времени, — как расстрел дьякона Набережно-Никольской церкви в Киеве, да не единицы случаев таких.)

А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви. Пришли немцы — и стали церкви открывать. (Наши после немцев закрыть сразу постеснялись.) В Ростове-на-Дону, например, торжество открытия церковью вызвало массовое ликование, большое стечение толп. Однако они должны были проклинать за это немцев, да?

В том же Ростове в первые дни войны арестовали инженера Александра Петровича Малявко-Высоцкого, он умер в следственной камере, жена несколько месяцев тряслась, ожидая и своего ареста, — и только с приходом немцев спокойно легла спать: «Теперь-то по крайней мере выплусь!» Нет, она должна была молить о возвращении своих палачей.

В мае 1943, при немцах, в Виннице в саду на Подлесной улице (который в начале 1938 горсовет обнёс высоким забором и объявил «запретной зоной Наркомата Оборон») случайно начали раскапывать совсем уже незаметные, поросшие пышной травой могилы — и нашли таких 39 массовых, глубиной 3,5 метра, размерами 3х4 метра. В каждой могиле находили сперва слой верхней одежды погибших, затем трупы, сложенные «валетами». Руки у всех

были связаны верёвками, расстреляны были все — из малокалиберных пистолетов в затылок. Их расстреливали, видимо, в тюрьме, а потом ночами свозили хоронить. По сохранившимся у некоторых документам опознавали тех, кто был в 1938 осуждён «на 10 лет без права переписки». Вот одна из сцен раскопки: винницкие жители пришли смотреть или опознавать своих. Дальше — больше. В июне стали раскапывать близ православного кладбища — у больницы Пирогова, и открыли ещё 42 могилы. Затем — Парк культуры и отдыха имени Горького, — и под аттракционами, «комнатой смеха», игровыми и танцевальными площадками открыли ещё 14 массовых могил. Всего в 95 могилах — 9 439 трупов. Это — только в Виннице одной, где обнаружили случайно. А — в остальных городах сколько утаено? И население, посмотрев на эти трупы, должно было рваться в советские партизаны?

Может быть, справедливо допустить наконец, что если *нам* с вами больно, когда топчут нас и то, что мы любим, — так больно и тем, кого топчем *мы*? Может быть, справедливо наконец допустить, что те, кого мы уничтожаем, имеют право нас ненавидеть? Или — нет, не имеют права? Они должны умирать с благодарностью?

Мы приписываем этим полицаям и бургомистрам какую-то исконную, чуть ли не врождённую злобу — а злобу-то посеяли мы в них сами, это же наши «отходы производства». Как это Крыленко произносил? — «в наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы»^[5]. Вашей системы, товарищи! Надо своё Учение помнить!

А ещё не забудем, что среди тех наших соотечественников, кто шёл на нас с мечом и держал против нас речи, были и совершенно безкорыстные и лично не задетые, у которых имущества никакого не отнимали (у них не было ничего) и которые сами в лагерях не сидели, и даже из семьи никто, но которые давно задыхались от всей нашей системы, от презрения к отдельной судьбе; от преследования убеждений; от песенки этой глумливой:

где так вольно дышит человек;

от поклонов этих богомольных Вождю; от дёрганья этого карандаша — дай скорее на заём подписаться! от аплодисментов, переходящих в овацию. Можем мы допустить, что этим-то людям, нормальным, не хватало нашего смрадного воздуха? (Обвиняли на следствии отца Фёдора Флору — как смел он при румынах рассказывать о

сталинских мерзостях. Он ответил: «А что я мог говорить о вас иначе? Что знал — то и говорил. Что было — то и говорил». А по-советскому: лги, душою криви и сам погибай — да только чтобы власти на выгоду! Но это ведь, кажется, уже не материализм, а?)

Случилось так, что в сентябре 1941 года, перед тем как мне уйти в армию, в посёлке Морозовске, на следующий год взятом немцами, мы с женой, молодые начинающие учителя, снимали квартиру в одном дворике с другими квартирантами — бездетной четой Броневицких. Инженер Николай Герасимович Броневицкий, лет шестидесяти, был интеллигент чеховского вида, очень располагающий, тихий, умный. Сейчас я хочу вспомнить его продолговатое лицо, и мне всё чудится на нём пенсне, хотя, может, пенсне никакого и не было. Ещё тише и мягче была его жена — блекленькая, со льняными прилеглими волосиками, на 25 лет моложе мужа, но по поведению совсем уже немолодая. Они были нам милы, вероятно, и мы им, особенно по различию с жадной хозяйской семьёй.

Вечерами мы вчетвером садились на ступеньки крыльца. Стояли тихие тёплые лунные вечера, ещё не разорванные гулом самолётов и взрывами бомб, но для нас тревога немецкого наступления наползала, как невидимые, но душные тучи по молочному небу на беззащитную маленькую луну. Каждый день на станции останавливались новые и новые эшелоны, идущие на Сталинград. Беженцы наполняли базар посёлка слухами, страхами, какими-то шальными сотенными из карманов и уезжали дальше. Они называли сданные города, о которых ещё долго потом молчало Информбюро, боявшееся правды для народа. (О таких городах Броневицкий говорил не «сдали», а «взяли».)

Мы сидели на ступеньках и разговаривали. Мы, молодые, очень были наполнены жизнью и тревогой за жизнь, но сказать о ней, по сути, не могли ничего умней, чем то, что писалось в газетах. Поэтому нам было легко с Броневицкими: всё, что думали, мы говорили и не замечали разноты восприятия.

А они, вероятно, с удивлением рассматривали в нас два экземпляра телячьей молодёжи. Мы только что прожили Тридцатые годы — и как будто не жили в них. Они спрашивали нас, чем запомнились нам 37–38-й? Чем же! — академической библиотекой, экзаменами, весёлыми спортивными походами, танцами, самодеятельностью, ну и любовью конечно, возраст любви. А профессоров наших не

сажали в то время? Да, верно, двух-трёх посадили, кажется. Их заменили доценты. А студентов — не сажали? Мы вспомнили: да, верно, посадили нескольких старшекурсников. Ну и что же?.. Ничего, мы танцевали. А из ваших близких никого н-н-не... тронули?.. Да нет...

Это страшно, и я хочу вспомнить обязательно точно. Но было именно так. И тем страшней, что я как раз не был из спортивно-танцевальной молодёжи, ни — из маньяков, упёртых в свою науку и формулы. Я интересовался политикой остро — с десятилетнего возраста, я сопляком уже не верил Крыленке и поражался подстроенности знаменитых судебных процессов, — но ничто не наталкивало меня продолжить, связать те крохотные московские процессы (они казались грандиозными) — с качением огромного давящего колеса по стране (число его жертв было как-то незаметно). Я детство провёл в очередях — за хлебом, за молоком, за крупой (мяса мы тогда не ведали), но я не мог связать, что отсутствие хлеба значит разорение деревни и почему оно. Ведь для нас была другая формула: «временные трудности». В нашем большом городе каждую ночь сажали, сажали, сажали — но ночью я не ходил по улицам. А днём семьи арестованных не вывешивали чёрных флагов, и сокурсники мои ничего не говорили об уведенных отцах.

А в газетах так выглядело всё безоблачно-бодро.

А молодому так хочется принять, что всё хорошо.

Теперь я понимаю, как Броневицким было опасно что-нибудь нам рассказывать. Но немного он нам приоткрыл, старый инженер, попавший под один из самых жестоких ударов ГПУ. Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку, и лагерь не один — но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джекказгане — о воде, отравленной медью; об отравленном воздухе; об убийствах; о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово *Джекказган* подирало по коже тёркой, как безжалостные те истории. (И что же? Хоть чуть повернул этот Джекказган наше восприятие мира? Нет конечно. Ведь это не рядом. Ведь это не с нами. Этого никому не передашь. Легче не думать. Легче — забыть.)

Туда, в Джекказган, когда Броневицкий был расконвоирован, к нему приехала ещё девушкой его нынешняя жена. Там, в сени колючей проволоки, они поженились. А к началу войны чудом оказались на свободе, в Морозовске, с подпорченными, конечно, паспортами. Он работал в какой-то жалкой стройконторе, она — бухгалтером.

Потом я ушёл в армию, моя жена уехала из Морозовска. Городок попал под оккупацию. Потом был освобождён. И как-то жена написала мне на фронт: «Представляешь, говорят, что в Морозовске при немцах Броневицкий был бургомистром! Какая гадость!» И я тоже поразился и подумал: «Какая мерзость!»

Но прошли ещё годы. Где-то на тюремных тёмных нарах, перебирая в памяти, я вспомнил Броневицкого. И уже не нашёл в себе мальчишеской лёгкости осудить его. Его не по праву лишали работы, потом давали работу недостойную, его заточали, пытали, били, морили, плевали ему в лицо, — а он? Он должен был верить, что всё это — прогрессивно и что его собственная жизнь, телесная и духовная, и жизни его близких, и заземлённая жизнь всего народа не имеют никакого значения.

За брошенным нам клочком тумана «культы личности» и за слоями времени, в которых мы менялись (а от слоя к слою преломление и отклонение луча), мы теперь видим и себя, и 30-е годы не на том месте и не в том виде, как на самом деле мы и они были. То обожествление Сталина и та вера во всё, без сомнения и без края, совсем не были состоянием общенародным, а только — партии; комсомола; городской учащейся молодёжи; *заменителя* интеллигенции (поставленного вместо уничтоженных и рассеянных); да отчасти — городского мещанства (рабочего класса)^[6], у кого не выключались репродукторы трансляции от утреннего боя Спасской башни до полуночного Интернационала, для кого голос Левитана стал голосом их совести. («Отчасти» — потому что производственные Указы «двадцать минут опоздания» да закрепление на заводах тоже не вербовали себе защитников.) Однако было и городское меньшинство, и не такое уж маленькое, во всяком случае из нескольких миллионов, кто с отвращением выдёргивал вилку радиотрансляции, как только смел; на каждой странице каждой газеты видел только ложь, разлитую по всей полосе; и день голосования был для этих миллионов днём страдания и унижения. Для этого меньшинства существующая у нас диктатура не была ни пролетарской, ни народной, ни (кто точно помнил первоначальный смысл слова) советской, а — захватной диктатурой коммунистического меньшинства, весьма скотского характера.

Человечество почти лишено познания безэмоционального, безчувственного. В том, что человек разглядел как дурное, он почти не может заставить себя видеть также и хорошее. Не

всё сплошь было отвратно в нашей жизни, и не каждое слово в газетах была ложь, — но это загнанное, затравленное и стукачами обложенное меньшинство воспринимало жизнь страны — целиком как отвратность, и газетные полосы — целиком как ложь. Напомним, что тогда не было западных передач на русском языке (да и радиоприёмников ничтожно мало), что единственную информацию житель мог получить только из наших газет и официального радио, а именно их Броневицкие и подобные им опробовали как невылазную назойную ложь или трусливую утайку. И всё, что писалось о загранице, и о безповоротной гибели западного мира в 1930 году, и о предательстве западных социалистов, и о едином порыве всей Испании против Франко (а в 1942 о предательском стремлении Неру к свободе для Индии — ведь это ослабляло союзную английскую империю), — тоже оказалось ложью. Ненавистническая осточертелая агитация по системе «кто не с нами, тот против нас» никогда не отличала позиций Марии Спиридоновой от Николая II, Леона Блюма от Гитлера, английского парламента от германского рейхстага. И почему же фантастические по виду рассказы о книжных кострах на германских площадях и воскрешении какого-то древнего тевтонского зверства (не забудем, что о зверстве тевтонов достаточно прилипали и русские газеты в Первую Мировую войну) Броневицкий должен был отличить и выделить как правду и в германском нацизме (обруганном почти в тех же — то есть предельных — выражениях, как ранее Пуанкаре, Пилсудский и английские консерваторы) узнать четвероногое, достойное того, которое уже четверть столетия вполне реально и во плоти душило, отравляло и когтило в кровь его самого, и Архипелаг, и русский город, и русскую деревню? И всякий газетный поворот о гитлеровцах — то дружеские встречи наших добрых часовых в гадкой Польше, и вся волна газетной симпатии к этим мужественным воинам против англо-французских банкиров, и дословные речи Гитлера на целую страницу «Правды»; то потом в единое утро (второе утро войны) взрыв заголовков, что вся Европа истошно стонет под их пятой, — только подтверждали вертлявость газетной лжи и никак не могли бы убедить Броневицкого, что есть на земле палачи, сравнимые с нашими палачами, которых он-то знал истинно. И если б теперь, для убеждения, перед ним каждый день клали информационный листок Би-Би-Си, то самое большее, в чём ещё можно было его убедить: что Гитлер — вторая опасность для России, но никак, при Сталине, не первая. Однако Би-Би-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru